







МАРСЕЛЬ ПРУСТ

ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ



*Издательство АЛЬФА-КНИГА
Москва, 2014*

УДК 82(1-87)
ББК 84.(Фра.)
П85

Marcel Proust
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

À l'ombre des jeunes filles en fleurs

На переплете использованы
фрагменты работ *О. Ренуара*

Перевод с французского
А. Федорова

*В тексте сохранена пунктуация
и орфография переводчика*

Пруст М.

П85 Под сенью девушек в цвету/Пер. с фр. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2014. — 506 с.: ил. — (Собрание мировой классики).

ISBN 978-5-9922-1662-2

Марсель Пруст (1871—1922) — один из самых утонченных и загадочных классиков французской литературы, непревзойденный стилист и мастер незабываемых метафор, ярчайший представитель литературного модернизма.

В этом издании публикуется один из его самых известных романов «Под сенью девушек в цвету» из знаменитой эпопеи «В поисках утраченного времени».

УДК 82(1-87)
ББК 84.(Фра.)

ISBN 978-5-9922-1662-2

© А. Федоров. Наследники, 2014
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2014

Часть первая ВОКРУГ Г-ЖИ СВАН

Когда в первый раз речь зашла о том, чтобы пригласить на обед господина де Норпуа, моя мать выразила сожаление, что профессор Котар в отъезде и что сама она совершенно перестала посещать дом Свана, а ведь и тот и другой могли бы быть интересны для бывшего посла, — отец ответил, что такой замечательный сотрапезник и знаменитый ученый, как Котар — никогда не лишний за столом, но что Сван, с его чванством, с его манерой на каждом перекрестке трубить о самых ничтожных своих связях, — заурядный хвостун, которого маркиз де Норпуа, пользуясь его же языком, нашел бы, наверное, «зловонным». Этот ответ моего отца требует разъяснений, потому что иным, быть может, памятен еще некий весьма незначительный Котар и Сван, скромность и сдержанность которого достигали крайней степени изысканности в области светских отношений. Но что касается прежнего приятеля моих родных, то к личностям «Свана-сына» и «Свана — члена Жокей-Клуба» он прибавил теперь личность новую (и это прибавление было не последним) — личность мужа Одетты. Подчинив жалкому честолюбию этой женщины всегда ему присущие инстинкты, желание и ловкость, он ухитрился создать себе новое положение, сильно уступавшее прежнему и рассчитанное на подругу, которая будет занимать его с ним. И тут он оказывался другим человеком. Поскольку (продолжая посещать своих личных друзей, которым он не желал навязывать Одетту, если они сами не просили его познакомить с нею) он вместе со своей женой начинал новую жизнь среди новых людей, то еще можно было понять, что, желая оценить их достоинства, а следовательно, и то удовольствие, которое он мог доставить своему самолюбию, когда принимал их у себя, он решил воспользоваться для сравнения не самыми блестящими из своих знакомых, составлявших его общество до брака, а прежними знакомыми Одетты. Но даже

зная, что он ищет знакомства грубоватых чиновников или сомнительных женщин, служащих украшением министерских балов, все же удивительно было слышать, как он — прежде, да и теперь еще, умевший так изысканно скрывать приглашение в Твикенгем или в Букингемский дворец — громко трубил, что жена помощника начальника канцелярии приезжала отдать визит г-же Сван. Может быть, скажут, что простота Свана — светского человека была только более утонченной формой тщеславия и, подобно некоторым израильтянам, прежний друг моих родных тоже мог пройти последовательные стадии, которые прошли его соплеменники, начиная самым наивным снобизмом и самой резкой грубостью и кончая самой тонкой вежливостью, что в этом — вся причина. Но главная причина — причина, имеющая значение для всякого человека вообще, — была та, что даже наши добродетели не являются чем-либо свободным, текучим, что они не всегда в нашей власти; в конце концов они в нашем представлении так тесно связываются с поступками, которые, как нам кажется, обязывают нас их проявлять, что когда перед нами открывается деятельность другого рода, она застаёт нас врасплох, и мы даже не можем представить себе, чтобы эти самые добродетели могли и здесь найти применение. Сван, ухаживающий за своими новыми знакомыми и с гордостью ссылающийся на них, напоминал тех больших художников, скромных и щедрых, которые, если под старость принимаются за кулинарию или садоводство, с наивным удовлетворением выслушивают похвалы своим кушаньям или своим грядкам, не допуская по отношению к ним никакой критики, хотя были бы рады ей, если бы дело шло о каком-нибудь их шедевре; или же, отдавая за бесценнок свою картину, не в силах сдержать раздражение, проиграв в домино каких-нибудь сорок су.

Что касается профессора Котара, то он еще неоднократно встретится нам много дальше, у Хозяйки, в замке Распельер. Пока что ограничимся по отношению к нему прежде всего следующими замечаниями. Перемена, происшедшая в Сване, могла в конце концов удивить, потому что она уже завершилась незаметно для меня, когда я встречался с отцом Жильберты на Елисейских Полях, где, впрочем, не разговаривая со мной, он и не мог хвастать своими политическими связями (правда, если б он и стал это делать, его тщеславие, может быть, и не сразу бросилось бы мне в глаза, потому что представление, которое мы

давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши; моя мать целых три года совершенно не замечала, что ее племянница подмазывает себе губы, как будто краска полностью и незримо была растворена в какой-то жидкости, — пока одна лишняя крупинка или, может быть, какая-нибудь другая причина не вызвала феномен, называемый *перенасыщением*; незамечаемые румяна превратились в кристаллы, и моя мать, увидев вдруг этот разгул красок, объявила, уподобившись обывательнице Комбре, что это срам, и прекратила почти всякие сношения с племянницей). Но что касается Котара, то, напротив, время, когда он в доме Вердюреных присутствовал при появлении там Свана, было уже довольно далеким, а с годами приходят почести, официальные звания; во-вторых, можно не быть широко просвещенным, можно строить нелепые каламбуры, но обладать особым даром, которого не заменит никакая общая культура, — как, например, дар стратега или великого клинициста. Действительно, собратья Котара видели в нем не только скромного врача-практика, ставшего с течением времени европейской знаменитостью. Самые умные среди молодых врачей заявляли — в продолжение, по крайней мере, нескольких лет, ибо моды, порожденные потребностью в перемене, тоже меняются, — что случись им заболеть, то одному лишь Котару они доверили бы свою жизнь. Разумеется, они предпочитали общество профессоров более начитанных, обладавших художественным чутьем, с которыми они могли говорить о Ницше, о Вагнере. На музыкальных вечерах, которые давала г-жа Котар в надежде, что муж ее станет деканом факультета, и на которые приглашала его коллег и учеников, сам он, вместо того чтобы слушать, предпочитал играть в карты в соседней гостиной. Но все восхваляли меткость, проницательность, точность его глаза, его диагноза. В-третьих, что касается позы, которую Котар принимал, когда имел дело с людьми вроде моего отца, то заметим, что характер, который обнаруживается в нас во второй половине нашей жизни, если и часто, то все же не всегда является соответствием нашему прежнему характеру, развивая или заглушая его особенности, подчеркивая или затушевывая их; порою это характер совершенно противоположный, совсем как костюм, вывернутый наизнанку. Нерешительность Котара, его чрезмерная застенчивость и услужливость всюду, за исключением дома Вердюреных, привязавшихся к нему, были в его молодости причиной вечных шуток. Какой мило-

сердный друг посоветовал ему надеть маску неприступности? Важность его положения облегчила ему это. Всюду, разве за исключением дома Вердюренов, где он невольно становился самим собой, он напускал на себя холодность, любил молчать, был безапелляционен, если надо было говорить, не упуская случая сказать что-нибудь неприятное. Эту новую манеру держаться он мог проверить на пациентах, которые, еще никогда не видев его, не могли и сравнить и были бы очень удивлены, узнав, что он человек вовсе не суровый по природе. Больше всего он стремился к полной невозмутимости, и даже когда в больнице он изрекал один из тех каламбуров, что заставляли смеяться всех, начиная старшим врачом клиники и кончая новичком-студентом, он делал это всегда так, что не двигался ни один мускул его лица, которое к тому же стало неузнаваемо с тех пор, как он сбрил бороду и усы.

Объясним, наконец, кто был маркиз де Норпуа. До войны он был полномочным министром, а после 16 мая — послом и, несмотря на это, к великому удивлению многих, исполнял затем не раз поручения, возлагавшиеся на него радикальными правительствами, которым даже обыкновенный реакционер-буржуа отказался бы служить и которым прошлое г-на де Норпуа, его связи, его взгляды должны были бы внушать подозрение: он являлся представителем Франции в чрезвычайных случаях и даже, в качестве государственного контролера по долгам в Египте, оказал важные услуги, благодаря своим большим финансовым способностям. Но эти передовые министры, должно быть, отдавали себе отчет в том, что благодаря подобному назначению становится очевидно, каких широких взглядов держатся они, когда дело идет о высших интересах Франции, что они поднимаются выше обыкновенных политических деятелей, заслуживая даже со стороны «*Journal des Débats*» признания их государственными людьми; наконец, они извлекали выгоду из престижа, который связан с аристократическим именем, а также из интереса, который возбуждает, подобно театральной развязке, неожиданное назначение. Они знали также, что, обращаясь к г-ну де Норпуа, они могут пользоваться этими удобствами, не опасаясь с его стороны недостатка в политической лояльности, так как происхождение маркиза служило для них не предостережением, но гарантией. И в этом правительство республики не ошибалось. Прежде всего потому, что известного рода аристократы, с детства привыкшие смотреть на свое имя как на внутреннее преимущество,

которого ничто не может у них отнять (и цена которого хорошо известна людям равным им или стоящим еще выше), знают, что могут избавить себя, ибо это не даст им большего, от ненужных усилий, которые без ощутимых результатов делают столько простых буржуа, старающихся выказывать лишь благонадежные взгляды и водить знакомство лишь с благонамеренными людьми. Зато, стремясь возвыситься в глазах принцев и герцогов, от которых их отделяет всего лишь одна ступень, эти аристократы знают, что они могут этого достичь, лишь украсив свое имя тем, чего ему не было дано и благодаря чему они могут превзойти равных по рождению, то есть политическим влиянием, известностью писателя или художника, большим состоянием. И заботы, от которых не в пример заискивающему буржуа они могут воздержаться в отношениях к ненужному им дворянчику, чья бесплодная дружба не имела бы никакой цены в глазах принца, — эти заботы они станут расточать политическим деятелям, хотя бы и масонам, которые могут открыть доступ в посольства или оказать покровительство на выборах, художникам или ученым, чья поддержка помогает «пробиться» в той области, где они главенствуют, всем тем, наконец, кто в состоянии придать новый блеск вашей репутации или помочь выгодному браку.

Что же касается г-на де Норпуа, то он прежде всего в течение долгой дипломатической карьеры проникся тем отрицательным, рутинным, консервативным, «правительственным» духом, который действительно присущ всем правительствам и при всех правительствах царит главным образом в канцеляриях. В этой деятельности он почерпнул отвращение и боязливое презрение к тем более или менее революционным и, во всяком случае, некорректным методам, какими являются методы оппозиции. Если не считать каких-нибудь невежд из простого народа или же из светского общества, для которых различие духовных типов — мертвая буква, то людей связывает не общность убеждений, а кровное родство духа. Какой-нибудь академик вроде Легуве, сторонник классиков, скорее одобрил бы дифирамб Виктору Гюго, произнесенный Максимом Дюканом или Мезьером, нежели дифирамб Буало, произнесенный Клоделем. Одинаковость националистических взглядов сближает Барреса с его избирателями, которые не видят большой разницы между ним и г-ном Жоржем Берри, но не может сблизить его с коллегами по Академии, которые, разделяя его политические взгляды, однако будучи

другого склада ума, предпочтут ему даже противников вроде гг. Рибо и Дешанеля, гораздо более близких последовательным монархистам, нежели Моррас и Леон Доде, хотя и они желают возвращения короля. Скупой на слова, по профессиональной привычке, внушающей сдержанность и осторожность, а также и потому, что слова благодаря этому приобретают больший вес, представляют больше оттенков с точки зрения тех, чьи десятилетние труды, направленные на сближение двух стран, выражаются, резюмируются — в речи или протоколе — простым прилагательным, казалось бы, совсем обыкновенным, но заключающим для них целый мир, — г-н де Норпуа считался человеком очень холодным в той комиссии, где он заседал рядом с моим отцом, которого все поздравляли, видя расположение к нему бывшего посла. Оно прежде всего удивляло моего отца. Ибо, не отличаясь вообще особой любезностью, он не привык к тому, чтобы за пределами круга домашних кто-нибудь старался приобрести его дружбу, и простодушно признавался в этом. Он сознавал, что предупредительность дипломата была следствием той совершенно индивидуальной точки зрения, на которую становится всякий, когда дело идет о его привязанностях, и с которой все умственные качества или эмоциональные свойства известного лица, если само это лицо сердит нас или неприятно на нас действует, не будут служить столь благоприятной рекомендацией, как прямота и веселость другого человека, который многим будет казаться пустым, легкомысленным и ничтожным. «Де Норпуа опять пригласил меня на обед; это необыкновенно; в комиссии все поражены; там он ни с кем не знаком домами. Я уверен, что он расскажет мне еще что-нибудь потрясающее о войне 70-го года». Отец мой знал, что г-н де Норпуа был, пожалуй, единственный, кто указывал императору на растущую мощь и воинственные замыслы Пруссии, и что Бисмарк питал исключительное уважение к его уму. В газетах совсем еще недавно писалось о продолжительной беседе, которой удостоил г-на де Норпуа король Фредосий в опере, во время гала-спектакля, дававшегося в честь монарха. «Надо мне будет узнать, действительно ли имеет значение этот приезд короля, — сказал нам мой отец, проявлявший большой интерес к иностранной политике. — Правда, я знаю, что старик Норпуа — очень скрытный, но со мной он так мило откровенничает...»

Что касается моей матери, то, пожалуй, посол и не отличался тем складом ума, который был для нее всего привлекательнее. И я должен сказать, беседа г-на де Норпуа была столь полным собранием устарелых формул, характерных для определенной деятельности, для определенного класса людей и для определенной эпохи — эпохи, может быть, еще и не совсем кончившейся для этого рода деятельности и для этого класса людей, — что порой я жалею, зачем я просто и точно не сохранил в памяти того, что он говорил: я достиг бы эффекта старомодности с такой же легкостью и совершенно таким же путем, как тот актер из Палле-Рояля, которого спрашивали, где он отыскивает свои удивительные шляпы, и который отвечал: «Я не отыскиваю их, я их сохраняю». Словом, моя мать, как я думаю, считала г-на де Норпуа немножко «старомодным», что отнюдь не казалось ей неприятным в смысле манер, однако меньше нравилось ей, если не в отношении взглядов, — ибо взгляды г-на де Норпуа были весьма современные, — то в смысле форм выражения. Но она понимала, что она тонко льстит самолюбию своего мужа, когда, в разговорах с ним, восхищается этим дипломатом, который относится к нему с такой исключительной благосклонностью. Поддерживая в нем высокое мнение, которое он составил себе о г-не де Норпуа, и таким путем возвышая в собственных глазах и его самого, она исполняла свой долг, состоявший в том, чтобы делать приятной жизнь мужа, так же, как когда заботилась о том, чтобы обед был хорош и чтобы прислуга молчаливо исполняла свои обязанности. А так как она не способна была лгать моему отцу, то невольно начинала восхищаться послом, чтобы иметь возможность хвалить его с полной искренностью. Впрочем, ей, разумеется, нравилось его доброе лицо, его учтивость, несколько старомодная (и настолько изысканная, что когда, идя по улице, выпрямившись во весь свой рост, он замечал мою мать, проезжавшую в экипаже, он, прежде чем снять шляпу, бросал сигару, только что закуренную); его обдуманная беседа, во время которой он как можно меньше говорил о себе и всегда помнил о том, что могло бы быть интересно собеседнику; пунктуальность, с которой он отвечал на письма и которая казалась столь необыкновенной, что когда отцу моему случалось послать письмо г-ну де Норпуа и он тотчас же после этого получал конверт, надписанный рукой маркиза, то у него прежде всего являлась мысль, что по досадной случайности письма их разошлись в дороге; можно было подумать, что для г-на де Норпуа существует

особая почта. Моя мать удивлялась, как он может быть таким точным несмотря на свою занятость, таким внимательным несмотря на бесконечные знакомства, и не думала о том, что за этими «несмотря на» всегда скрываются «потому что» и (подобно тому как иные старики удивительно сохраняются для своего возраста, короли держатся с величайшей простотой, а провинциалы всё знают) одни и те же привычки позволяют г-ну де Норпуа заниматься таким множеством дел и быть таким аккуратным в своей переписке, иметь успех в обществе и оказывать внимание нашей семье. К тому же моя мать, как все чрезвычайно скромные люди, впадала в заблуждение, вызванное тем, что все относящееся к ней она привыкла считать заслуживающим меньшего внимания, не ставя в связь ни с чем. Быстрый ответ на письмо, имевший в ее глазах такую цену, потому что другу моего отца каждый день приходилось писать много писем, являлся для нее исключением из этого множества писем, хоть это и было только одно из них; она также не принимала во внимание, что для г-на де Норпуа обед в нашем доме — одно из бесчисленных дел в его общественной жизни; она не думала о том, что посол, будучи дипломатом, привык смотреть на званые обеды как на нечто входящее в его служебные обязанности, проявляя на них давно привычную ему любезность, и нельзя было требовать, чтобы, обедая у нас, он в виде исключения от нее отрешился.

День, когда г-н де Норпуа первый раз обедал в нашем доме, — это было еще в то время, когда я ходил играть на Елисейские Поля, — запомнился мне потому, что в этот день мне удалось услышать Берма в утреннем спектакле в «Федре», а также потому, что, разговаривая с г-ном де Норпуа, я внезапно и по-иному отдал себе отчет в том, насколько чувства, внушаемые мне всем, что касалось Жильберты Сван и ее родителей, были непохожи на чувства, которые эта самая семья возбуждала в других.

Заметив, должно быть, мое уныние по случаю приближения новогодних вакаций, в течение которых я не должен был видаться с Жильбертой, объявившей мне об этом, моя мать сказала мне, чтобы развлечь меня: «Если тебе все так же хочется слышать Берма, то, я думаю, отец позволит тебе пойти в театр; тебя сведет туда бабушка».

А надо заметить, г-н де Норпуа говорил моему отцу, что следовало бы позволить мне послушать Берма, что такие воспоминания навсегда остаются у юноши, и потому мой отец, не допу-

скавший до сих пор и мысли, чтобы я рисковал здоровьем и тратил время на вещи, которые он, к величайшему возмущению бабушки, называл никчемными, уже готов был смотреть на этот спектакль, реабилитированный послом, как на одно из условий, необходимых для блестящей карьеры и удачи. Бабушка, которая принесла большую жертву моему здоровью, отказавшись от намерения дать мне услышать Берма, что было бы, по ее мнению, благотворно для меня, дивилась, как одно слово г-на де Норпуа заставило позабыть все заботы о здоровье. Твердо уповая, как подобает рационалисту, на целительное действие режима, предписывавшего мне подолгу бывать на воздухе и рано ложиться спать, она сокрушалась об этом нарушении его как о несчастье, и страдальческим голосом говорила моему отцу: «Как вы легкомысленны», — на что отец сердито отвечал: «Как? Теперь вы не хотите, чтобы он шел в театр! Это уж слишком, ведь вы все время твердили нам, что это принесет ему пользу».

Но г-н де Норпуа изменил планы моего отца по еще более существенному для меня вопросу. Отцу всегда хотелось, чтобы я стал дипломатом, а для меня невыносима была мысль, что, будучи даже временно причислен к министерству, я рискую в один прекрасный день получить назначение в столицу, где Жильберты не будет. Я предпочел бы вернуться к литературным замыслам, зародившимся во мне когда-то во время моих прогулок в сторону Германта и мною оставленным. Но отец постоянно противился моему желанию посвятить себя литературной карьере, которую он считал гораздо менее почтенной, нежели дипломатия, отказывая ей даже в названии карьеры, — вплоть до того дня, когда г-н де Норпуа, недолюбливавший дипломатических чиновников нового образца, убедил его, что и в роли писателя можно заслужить такое же уважение и оказать такое же влияние, как в дипломатической должности, сохраняя при этом большую независимость.

«Ну вот, я и не думал, что старик Норпуа отнюдь не возражает против твоего плана заняться литературой», — сказал мне отец. А так как, пользуясь сам достаточным влиянием, он считал, что нет такого дела, которое не устроилось бы, не получило благополучного разрешения в разговоре с влиятельными людьми, то и заключил: «Как-нибудь на этих днях я приведу его обедать после комиссии. Ты поговоришь с ним, чтобы он мог оценить тебя. Напиши что-нибудь получше, чтобы можно было

ему показать: он в большой дружбе с редактором «Revue des Deux Mondes», он тебе туда откроет доступ, он это устроит, он ловкий старик; и право, он как будто считает, что дипломатия теперь — так...»

Радостная надежда на то, что я не буду разлучен с Жильбертой, внушала мне желание, но не давала сил написать какую-нибудь хорошую вещицу, которую можно было бы показать г-ну де Норпуа. Написав две-три страницы вступления, я от скуки ронял перо, я плакал от бешенства при мысли, что никогда не буду талантлив, что я лишен дарования и даже не способен воспользоваться счастливым случаем — предстоящим посещением г-на де Норпуа, позволявшим мне навсегда остаться в Париже. И только мысль, что мне разрешают послушать Берма, заставляла меня забыть это горе. Но так же, как бурю мне страстно хотелось видеть только на одном из тех побережий, где ярость ее всего сильнее, так и великую актрису мне хотелось видеть не иначе, как в одной из тех классических ролей, где, по словам Свана, она достигала подлинного величия. Ибо когда мы ищем известных впечатлений в искусстве или в природе в надежде на какое-нибудь драгоценное открытие, то совестимся вместо них давать доступ в нашу душу впечатлениям менее значительным, которые могут ввести нас в обман насчет точного значения Прекрасного. Берма в «Андромахе», в «Прихотях Марианны», в «Федре» — вот оно, то великолепие, которого так жаждало мое воображение. Если когда-нибудь в чтении Берма мне суждено будет слышать стихи: «Внезапный твой отъезд теперь нам возвешен» и т.д., я испытаю то же наслаждение, как в тот день, когда мне доведется наконец подплыть в гондоле к шедевру Тициана в церкви Фрари или к картинам Карпаччо в Сан-Джорджо деи Скьявони. Я знал их в том виде, как — черным по белому — они воспроизводятся в печатных изданиях; но мое сердце билось каждый раз при мысли, что наконец, словно осуществившаяся мечта о путешествии, они действительно предстанут мне в солнечных лучах золотого голоса. Картина Карпаччо в Венеции, Берма в «Федре» — вот совершенные создания живописи или драматического искусства, которым связанное с ними обаяние придавало в моих глазах такую жизненность, то есть так тесно связывало их воедино, что если бы мне пришлось увидеть Карпаччо в Луврской галерее или Берма в какой-нибудь пьесе, о которой я ничего бы не слышал до сих пор, я уже не ощутил бы чудесного удивления, как в

ту минуту, когда наконец увидел бы воочию непостижимый и единственный предмет бесчисленных моих мечтаний. К тому же, ожидая от игры Берма откровения новых сторон благородства и страдания, я думал, что эта игра будет еще величественнее и правдивее, если в основу ее актриса положит произведение действительно замечательное, вместо того чтобы оживлять в общем правдивым и красивым рисунком ничтожную и пошлую канву.

И наконец, если бы мне пришлось слушать Берма в новой пьесе, мне было бы нелегко судить о ее мастерстве, ее дикции, ибо я не мог бы провести сравнения между текстом, не известным мне заранее, и его исполнением, интонациями и жестами, которые показались бы мне неразрывными с ним; между тем старые произведения, которые я знал наизусть, представлялись мне обширными просторами, где я сразу на полной свободе легко смогу оценить откровения Берма и неиссякаемые находки ее фантазии, которыми она расцветит их, словно фрески. К несчастью, с тех пор как она покинула большие сцены и обогащала один бульварный театр, звездой которого была, она больше не играла в классических пьесах, и я напрасно изучал афиши, они все время объявляли только совершенно новые пьесы, состряпанные модными авторами специально для нее, — как вдруг, однажды утром, просматривая на колонке с афишами программы утренних представлений первой недели Нового года, я впервые увидел, — в конце спектакля, после какой-то пьесы для поднятия занавеса, вероятно малозначительной, с заглавием, которое мне показалось непроницаемым, ибо оно заключало в себе все особенности каких-то неведомых мне событий, — два действия «Федры» с участием г-жи Берма, а в следующих утренних спектаклях — «Полусвет», «Прихоти Марианны» — имена для меня прозрачные, как и «Федра», насквозь пронизанные светом, настолько знакомы были мне эти произведения, до глубины озаренные улыбкой искусства. Они возвышались в моих глазах и г-жу Берма, которая, как сообщалось в газете вслед за программой этих спектаклей, сама приняла решение снова показаться публике в одной из своих прежних ролей. Значит, артистка знала, что иные роли представляют интерес, не зависящий от их новизны или от успеха их возобновления; на эти роли в своем исполнении она смотрела как на музейные шедевры, которые поучительно снова показать поколению, восхищавшемуся ею, или поколению, еще не видевшему ее в этих ролях. И когда в число

пьес, предназначавшихся лишь к тому, чтобы занять публику на один вечер, она ставила на афишу «Федру», заглавие которой было не длиннее их заглавий и было напечатано такими же буквами, она делала это как будто с умыслом, точно хозяйка дома, которая представляет своих гостей — и в ту минуту, когда зовут к столу, называет в числе гостей, являющихся всего лишь гостями, тем же тоном, каким она представляла остальных: «Господин Анатолий Франс».

Лечивший меня врач — тот, который запретил мне путешествовать, — советовал моим родным не пускать меня в театр, потому что оттуда я вернусь больной, быть может надолго, и страдание, в конце концов, будет сильнее, чем полученное удовольствие. Подобная мысль могла бы меня остановить, если бы то, чего я ожидал от этого представления, было только удовольствием, которое может уничтожить сменившее его страдание. Но то, что я хотел получить от этого спектакля, — так же как и то, чего я ожидал от поездки в Бальбек, от путешествия в Венецию, к которым так стремился, — было нечто совсем иное, чем удовольствие: то были истины, принадлежащие миру более реальному, чем тот, где я жил, и которые, однажды сделавшись моим достоянием, не могут быть отняты у меня по вине ничтожных случайностей моей праздной жизни, хотя бы и мучительных для моего тела. Удовольствие, которое я буду испытывать во время спектакля, казалось мне, самое большее, формой, может быть, необходимой для восприятия этих истин; мне только страстно хотелось, чтобы предсказанное недомогание наступило уже после спектакля, не помешало моему удовольствию и не испортило его. Я умолял моих родителей, которые после посещения врача уже не хотели позволить мне пойти на «Федру». Я без конца декламировал тираду: «Внезапный твой отъезд теперь нам возвещен», отыскивая все интонации, которые можно было вложить в нее, чтобы лучше оценить всю неожиданность той интонации, которую найдет Берма. Божественной красоте, которая должна была явиться мне в игре Берма и которая, таясь, словно святая святых за завесой, скрывавшей ее от меня, каждое мгновение принимала для меня новые формы, воплощая приходившие мне на память слова Бергота в брошюре, отысканной Жильбертой: «Благородная пластичность, христианская власяница, янсенистская бледность, царица Трезенская и принцесса Клевская, микенская трагедия, дельфийский символ, солнечный миф», — этой красоте я

воздвиг жертвенник, пылавший день и ночь неугасимым огнем в глубинах моей души, и теперь от решения моих суровых и неосмотрительных родных зависело, заключит ли она в себе навсегда или нет совершенства богини, освобожденной от покровов в том месте, где высился ее незримый образ. И, устремив глаза на непостижимые черты, я по целым дням боролся с препятствиями, которые создавала мне моя семья. Но когда они исчезли, когда моя мать — несмотря на то, что этот утренний спектакль приходился как раз на день заседания комиссии, после которого отец намерен был привести обедать г-на де Норпуа, — сказала мне: «Ну что ж, мы не хотим огорчать тебя; если ты думаешь, что это доставит тебе такое удовольствие, надо идти», — когда этот день, посвященный театру и до сих пор запретный, стал зависеть уже только от меня, тогда, освободившись от забот о том, чтобы сделать его возможным, я впервые спросил себя, следует ли его желать и нет ли помимо запрета моих родных других причин, которые заставили бы меня отказаться от моего намерения. До этого их жестокость возмущала меня, но теперь, когда позволение было дано, они стали мне так дороги, что мысль о возможности огорчить их делалась для меня самого источником огорчения, заставляя видеть цель жизни уже не в истине, а в нежности, и в самой жизни видеть хорошее и плохое в зависимости от того, будут ли счастливы или несчастны мои родные. «Я лучше не пойду, если это вас огорчит», — сказал я матери, которая, напротив, старалась отвлечь меня от мысли, будто я могу огорчить ее, потому что эта мысль, по ее словам, отравила бы удовольствие, которое я получу от «Федры» и ради которого она и отец отменили свое запрещение. Но тогда это обязательное удовольствие начинало казаться мне очень тягостным. Затем, если я из театра приду больной, — успею ли я выздороветь до конца каникул, чтобы пойти на Елисейские Поля, как только вернется Жильберта? Стараясь решить, чему отдать предпочтение, я всем этим доводам противопоставлял незримый за скрывающей его завесой образ совершенств Берма. На одной чашке весов было: «мама огорчится, а я, чего доброго, буду не в состоянии пойти на Елисейские Поля», а на другой: «янсенистская бледность, солнечный миф»; но под конец самые эти слова потускнели в моем уме, они больше ничего не говорили мне, теряли всякий вес; мало-помалу мои колебания становились так мучительны, что если бы я решился в пользу театра, то это имело бы единствен-

ной целью положить им конец и раз навсегда избавиться от них. Обаяние совершенства утратило власть надо мной; уже не в надежде на духовное обогащение, а лишь для того, чтобы сократить свои муки, позволил бы я вести себя не к Мудрой Богине, но к беспощадному Божеству без лика и без имени, обманно поставленному на ее место за завесой. Но вдруг все изменилось, моему желанию услышать Берма был дан новый толчок, заставивший меня с нетерпением и радостью ожидать этого утра: предаваясь с упорством столпника моему ежедневному, с недавних пор столь мучительному созерцанию колонки с афишами, я увидел еще совсем свежую подробную афишу «Федры», наклеенную только что (и где, по правде говоря, распределение остальных ролей не послужило для меня добавочной приманкой, которая определила бы мое решение). Но одно из тех желаний, между которыми колебалась моя нерешительность, приобретало форму более конкретную, почти что неминуемую, так как афиша была помечена не тем днем, когда я читал ее, а днем, когда должно было состояться само представление, и даже часом, когда поднимется занавес, — оно уже готово было осуществиться, так что от радости я даже подскочил перед колонкой, захваченный мыслью, что в этот день и в этот час я, сидя на своем месте, приготовлюсь слушать Берма; и от страха, что мои родные не успеют достать два хороших места — для бабушки и для меня, — я одним прыжком оказался дома, подстегнутый магическими словами, которые сменили в моем уме «янсенистскую бледность» и «солнечный миф»: «Дамам в шляпах вход в кресла не разрешается. Впуск публики прекращается в два часа».

Увы, этот первый спектакль был большим разочарованием. Отец предложил нам с бабушкой завезти нас в театр по дороге в комиссию. Уходя из дому, он сказал матери: «Постарайся, чтобы был хороший обед. Ты помнишь, что я приведу де Норпуа?» Моя мать не забыла об этом. И уже с вечера Франсуаза пребывала в творческом волнении, счастливая, что может предаться искусству кулинарии, даром которого она несомненно обладала, подстрекаемая к тому же мыслью о новом госте, возвещенном ей, и зная, что ей придется готовить по способу, известному ей одной, говядину в желе; так как она придавала исключительное значение органическим свойствам материалов, входивших в состав ее произведений, то сама ходила на рынок, чтобы достать лучшие части вырезки, лучший окорок, лучшие

телячьи ножки, подобно Микеланджело, который восемь месяцев провел в горах Каррары, выбирая совершеннейшую глыбу мрамора для памятника Юлию II. Носясь взад и вперед, Франсуаза проявляла такое усердие, что мама, видя ее пылающее лицо, обеспокоилась, как бы наша старая служанка не заболела от переутомления, как создатель гробницы Медичи в каменоломнях Пьетраганты. И уже накануне Франсуаза отправила в булочную запекать то, что называла *ню-йоркской ветчиной* — розовый мрамор, защищенный оболочкой из хлебного мякиша. Очевидно, считая язык менее богатым, чем он есть, и не доверяя собственным ушам, она, когда при ней в первый раз заговорили о йоркской ветчине, решила, что ослышалась, что в словаре не может быть заодно и Йорк и Нью-Йорк, ибо это невероятно расточительно, и что, наверно, хотели произнести уже известное ей название. И с тех пор слову «Йорк» в ее представлении, слышала ли она его или читала где-нибудь в объявлении, предшествовал слог «ню», который она произносила «нев». И она с полным убеждением говорила своей судомойке: «Сходите за ветчиной к Олида. Барыня наказывала мне, чтобы ветчина была нев-йоркская». И если в этот день Франсуаза была исполнена пламенной уверенности великого творца, моим жребием была жестокая тревога искателя. Конечно, до того как я услышал Берма, я испытывал удовольствие: удовольствие я чувствовал в маленьком сквере перед театром, оголенные каштаны которого должны были через два часа зажечься металлическими отблесками — в тот миг, когда газовые рожки осветят контуры их ветвей; и тогда, когда мы проходили мимо контролеров, выбор которых, карьера, судьба зависели от великой артистки, безраздельно властвовавшей в этом театре, где незаметно сменялись призрачные, совершенно номинальные директора; контролеры эти взяли наши билеты, не глядя на нас, озабоченные мыслью, в точности ли переданы новым служащим все предписания г-жи Берма, хорошо ли известно, что клака никогда не должна аплодировать ей, что окна должны быть открыты, пока она не на сцене, и что каждая дверь должна быть закрыта после ее выхода, что рядом с ней незаметно должен быть поставлен сосуд с теплой водой, чтобы не давать скопиться пыли; и в самом деле, через какую-нибудь минуту ее карета, запряженная парой лошадей с длинными гривами, должна была остановиться перед театром и она должна была выйти из нее, закутанная в меха и кисло отвечающая на покло-

ны, послать одну из своих горничных узнать, оставлены ли места на авансцене для ее друзей, осведомиться о температуре залы, о публике лож, о том, как одеты капелдинерши, ибо театр и публика были для нее как бы вторым одеянием, более внешним, являясь средой, предназначенной к тому, чтобы служить проводником ее таланта. Счастлив был я еще и в самом зале; с тех пор как я знал, что — вопреки картинам, которые с давних пор рисовало мое детское воображение, — для всех существует только одна сцена, я думал, что в театре другие зрители мешают видеть, как всегда бывает в толпе; однако я убедился, что, напротив, благодаря особому расположению, являющемуся словно символом восприятия, каждый чувствует себя центром театра; тут я понял, почему Франсуаза, которую однажды отпустили в театр посмотреть мелодраму, уверяла, что ее место — на галерее третьего яруса — было самое лучшее, и почему ей казалось, что она сидела совсем недалеко и даже была напугана таинственной и полной жизни близостью занавеса. Мое удовольствие еще увеличилось, когда за этим опущенным занавесом мне начали слышаться смутные шумы, напоминавшие тот шорох, что возникает под скорлупой яйца, когда цыпленок готов вылупиться; вскоре они усилились, и вдруг стало несомненно, что они относятся к нам, — после того как из этого мира, недоступного нашему взгляду, не видящему нас, властно донесся троекратный стук, не менее потрясающий, чем знаки, поданные с планеты Марс. А когда занавес поднялся и на сцене появились письменный стол и камин, впрочем, довольно обыкновенные на вид, показывая, что лица, которые сейчас выйдут, не декламирующие актеры, каких я видел на одном вечере, но люди, собирающиеся у себя дома прожить один из дней своей жизни, в которую я проникну, как вор, не замеченный ими, — мое удовольствие все продолжалось; оно было прервано короткой тревогой: как раз в ту минуту, когда я настроился, ожидая начала пьесы, на сцену вышли двое мужчин, очень рассерженных, ибо они говорили настолько громко, что в этом зале, где было больше тысячи человек, слышно было каждое их слово, тогда как даже в маленьком кафе приходится спрашивать гарсона, что говорят какие-нибудь два повздоривших субъекта; но в ту же минуту, удивленный, что публика безропотно слушает их, захваченная всеобщим молчанием, на поверхности которого то тут, то там начинал плескаться смешок, я понял, что эти нахалы — актеры и что

маленькая пьеса, для так называемого «поднятия занавеса», началась. За ней последовал антракт, такой длинный, что зрители, вернувшись на свои места, начали выражать нетерпение, стучать ногами. Меня это испугало, ибо, подобно тому как, читая в отчете о судебном процессе, что какой-нибудь благородный человек, презрев свою собственную выгоду, собирается дать показания в пользу невинного, я всегда опасался, что с ним не будут достаточно милы, что ему не выразят должной благодарности, что его не вознаградят с избытком и что, возмущенный, он станет на сторону обвинителей, — так и теперь, отождествляя в этом смысле гений и добродетель, я опасался, как бы Берма, раздосадованная дурными манерами плохо воспитанной публики, — среди которой, напротив, мне так хотелось увидеть каких-нибудь знаменитостей, чье суждение было бы для нее дорого, — не выразила ей своего недовольства и презрения плохой игрой. И я с мольбой смотрел на этих топочущих животных, готовых в своей ярости разрушить то хрупкое, драгоценное впечатление, которого я искал. Наконец, последние минуты удовольствия я пережил во время первых сцен «Федры». Сама Федра не появляется в этих первых сценах второго акта, но всё же, как только занавес поднялся и вслед за тем раздвинулся другой занавес, из красного бархата, разделявший сцену пополам во всех пьесах, где играла знаменитость, из глубины показалась актриса, которая лицом и голосом, судя по тому, что я слышал о Берма, напоминала ее. Очевидно, изменили распределение ролей, и весь труд, который я положил на то, чтобы изучить роль жены Тезея, пропал зря. Но вот другая актриса подала первой реплику. Я, очевидно, ошибся, приняв ту, первую, за Берма, потому что вторая еще больше напоминала ее, в особенности дикцией. К тому же обе они, приподымая свои прекрасные пеплуны, сопровождали игру жестами, полными благородства, — которые были мне отчетливо видны и связь которых с текстом была мне понятна, — и продуманными интонациями, порою страстными, порою ироническими, открывавшими мне смысл какого-нибудь стиха, который дома я читал, не обращая внимания на то, что он означает. Но вдруг в просвете, образованном двумя половинками красного занавеса святилища, появилась, словно в раме, женщина, и я сразу же понял, что две актрисы, которыми я несколько минут восхищался, не имеют ничего общего с той, которую я пришел слушать, — понял по тому страху, гораздо более напряженному,

чем тот, что могла испытывать сама Берма, опасаясь, как бы ей не помешали, открыв окно, как бы не заглушили звука ее слов шуршанием программы, как бы не потревожили ее, аплодируя другим актрисам и недостаточно аплодируя ей, — я это понял по тому чувству — еще более интенсивному, чем у самой Берма, — с которым начиная с этой минуты я стал смотреть на зал, на публику, на актеров, на пьесу и на собственное тело, видя во всем этом только акустическую среду, имеющую смысл лишь в той мере, в какой она была благоприятна интонациям ее голоса. Но в ту же минуту кончилось все мое удовольствие: как я ни устремлялся к ней слухом, зрением, сознанием, стараясь не упустить ни одной крупинки из того, чем я должен был бы восхищаться в ней, мне ничего не удавалось уловить. В ее дикции и в ее игре я даже не мог отыскать тех осмысленных интонаций, красивых жестов, которые замечал в игре двух других актрис. Я слушал ее так, словно читал «Федру», или словно сама Федра говорила в эту минуту все то, что я слышал, и словно талант Берма не вносил ничего нового. Я хотел бы надолго задержать, остановить каждую из интонаций артистки, каждое из выражений, сменявшихся на ее лице, чтобы углубить их, пытаюсь открыть то прекрасное, что было в них заключено; по крайней мере, собрав все мое внимание и настроившись воспринять тот или иной стих, я старался не потерять ни одного слова, ни одной из тех секунд, в течение которых оно произносилось, не потерять ни одного жеста и, силой напряженного внимания, проникнуть в него так глубоко, как если бы в моем распоряжении были целые часы. Но как мимолетно было все это! Едва коснувшись слуха, звук уже сменялся другим. Во время той сцены, когда Берма, приподняв руку до уровня лица, тонущего в зеленых лучах искусственного света, застывает на миг на фоне декорации, изображающей море, зал разразился аплодисментами, но актриса стояла уже на другом месте, и картина, в которую я хотел бы вникнуть, уже не существовала. Я сказал бабушке, что мне плохо видно, она дала мне бинокль. Но когда веришь в реальность вещи, впечатление, полученное от нее искусственным путем, не вполне заменяет нам ее близость. Я подумал, что я уже вижу не Берма, но ее изображение в увеличительном стекле. Я отложил бинокль; но, может быть, образ, воспринятый моим глазом и уменьшенный расстоянием, был не более точен; который же из этих двух образов был настоящим? Что же касается признания Ипполиту, то я очень надеялся

ся на это место, где, судя по неожиданности значений, на которые другие актрисы открывали мне глаза в репликах менее замечательных, она должна была найти интонации гораздо более поразительные, чем те, которые я старался представить себе, читая «Федру» у себя дома; но она не достигла даже и тех, которые нашли бы Энона или Арисия; она сгладила однообразием мелопеи весь этот монолог, где друг с другом слились антитезы, как-никак настолько отчетливые, что сколько-нибудь вдумчивая артистка и даже, пожалуй, воспитанник лицея не оставили бы их незамеченными; кроме того, она произнесла его так быстро, что только тогда, когда она дошла до последнего стиха, я отдал себе отчет в нарочитом однообразии, которое она придала первым стихам.

Наконец я отдался первому порыву восхищения: он был вызван неистовыми аплодисментами зрителей. Я принял в них участие, стараясь продолжить их, чтобы Берма, из чувства благодарности, решила превзойти себя и чтобы я мог быть уверен, что слышал ее в один из лучших ее дней. Любопытно, впрочем, что момент, когда публика дала волю своему восхищению, был, как я узнал потом, одним из прекраснейших достижений Берма. Есть, по-видимому, трансцендентные реальности, от которых исходят лучи, и толпа чувствует их. Так, например, когда совершается историческое событие, когда армия подвергается опасности на границе или одерживает победу, те довольно смутные известия, которые мы получаем и которые мало говорят культурному человеку, вызывают в толпе волнение, которое удивляет его и в котором, узнав от осведомленных людей о действительном положении на фронте, он видит ту прозреваемую народом «ауру», что окружает великие события и может быть видна за сотни километров. О победе узнаешь или задним числом, когда война кончилась, или сразу же, видя радость консьержа. О гениальной черте в игре Берма мы узнаём из критики неделю спустя после того, как слушали ее, или сразу — по восторгу публики. Но так как к этому непосредственному пониманию толпы примешиваются еще сотни совершенно ошибочных оценок, то аплодисменты чаще всего раздавались некстати, не считая того, что они возбуждались механически силою предшествовавших аплодисментов, подобно тому, как во время бури волнение на море, взбудораженном ветром, продолжает расти, даже если ветер больше не усиливается. Во всяком случае, по мере того как я все больше аплодировал, мне казалось, что Берма лучше играет.

«По крайней мере, — говорила женщина, сидевшая рядом со мной, довольно простая на вид, — уж она себя не жалеет, ей, верно, больно, так она надрывается, она бегаёт; что ни говори, — это игра». И, радуясь такому определению превосходства Берма, хоть и сознавая, что оно объясняет его не лучше, чем объясняло красоту Джоконды или Персея Бенвенуто восклицание крестьянина: «А ведь хорошо! Всё из золота, да из какого! и какая работа!» — я упивался этим грубым вином восторга толпы. Тем не менее, когда занавес опустился, я почувствовал разочарование оттого, что это удовольствие, которого я так жаждал, оказалось меньше, чем я думал, — но вместе с тем и стремление продолжить его и, покинув зал, не расставаться навсегда с этой театральной жизнью, которая в течение нескольких часов была моей и разлука с которой была бы для меня словно изгнание, если бы, сразу по возвращении домой, я не надеялся слышать там о Берма от ее поклонника, которому был обязан разрешением пойти на «Федру», — г-на де Норпуа. Отец представил меня ему перед обедом, позвав для этого в свой кабинет. Когда я вошел, посол встал, протянул мне руку, наклонился ко мне и остановил на мне пристальный голубой взгляд. Так как иностранцы, которых знакомили с ним в то время, когда он за границей представлял Францию, были все — вплоть до певцов, пользовавшихся известностью, — лица более или менее замечательные и так как он знал, что потом, когда в Париже или Петербурге будут называть их имена, он сможет сказать, что прекрасно помнит вечер, проведенный с ними в Мюнхене или Софии, он привык всегда выражать им удовольствие, доставляемое знакомством с ними; но, кроме того, уверенный, что, соприкасаясь с замечательными личностями, которые оказываются проездом в той или иной столице, и сталкиваясь с обычаями народа, живущего там, можно и в области истории, и географии, и национальных нравов, и умственного движения Европы приобрести знания более глубокие, которых не дает книга, он при каждом новом знакомстве вооружался всей проницательностью наблюдателя, чтобы сразу же определить, с кем имеет дело. Правительство давно уж не поручало ему постов за границей, но, как только ему представляли кого-нибудь, глаза его, которым словно неизвестно было об его отставке, предавались плодотворным наблюдениям, между тем как он сам всей своей манерой держаться старался показать, что имя незнакомца ему не чуждо. Поэтому, разговаривая со мною благосклонно и важно, как человек, знающий цену своему об-

ширному опыту, он не переставал рассматривать меня с пытли-
вой любознательностью и ради своей же пользы, как если бы я
был чужеземное обыкновение, памятник, полный поучительно-
сти, или звезда, совершающая турне. И в его отношении ко мне
сказывалась таким образом величаявая приветливость мудрого
Ментора и настойчивая любознательность юного Анахарсиса.

Он ничего не предложил мне написать для «Revue des Deux
Mondes», но задал мне ряд вопросов о моем образе жизни и за-
нятиях, о моих вкусах, про которые со мной впервые говорили
так, как будто разумно было следовать им, между тем как я до
сих пор думал, что мой долг — им противиться. Так как они
влекли меня к литературе, то он не старался отвлечь меня от
нее; напротив, он говорил о ней почтительно, как об уважае-
мой и очаровательной особе, избранный круг которой в Риме
или Дрездене оставил в нас лучшие воспоминания, возбуждая
сожаления о том, что условия нашей жизни позволяют нам
лишь так редко встречаться. Казалось, те прекрасные мгнове-
ния, которые она подарит мне, более счастливому и более сво-
бодному, возбуждают в нем зависть, а вместе с тем и улыбку,
почти что игривую. Но самые выражения, которыми он поль-
зовался, показывали мне, что Литература слишком уж не соот-
ветствует тому представлению, которое я составил себе в Комб-
ре, и я понял, что был вдвойне прав, отказавшись от нее. До сих
пор я отдавал себе отчет только в том, что лишен литературного
дарования, теперь же г-н де Норпуа отнимал у меня и охоту пи-
сать. Я пытался высказать ему то, о чем мечтал; меня, дрожав-
шего от волнения, смущала мысль, что не все мои слова могут
быть самым искренним соответствием тем чувствам, которые я
никогда еще не пытался формулировать себе; иначе говоря, в
словах моих не было никакой ясности. Может быть, по про-
фессиональной привычке; может быть, благодаря спокойст-
вию, присущему всякому значительному лицу, советов которо-
го мы просим и которое предоставляет собеседнику волновать-
ся, напрягать все силы, прилагать все усердие, зная, что нити
разговора в его руках; а может быть, для того, чтобы выставить
в выгодном свете форму своей головы — греческую, по его мне-
нию, несмотря на большие бакенбарды, — г-н де Норпуа, когда
ему что-нибудь излагали, хранил полнейшую неподвижность
лица, как будто ваша речь была обращена к глухому античному
бюсту где-нибудь в глиптотеке. И вдруг раздавался, подобно
удару молотка на аукционе или дельфийскому оракулу, голос

посла, который отвечал вам, поражая тем сильнее, что по его лицу совершенно нельзя было угадать ни характера впечатления, которое вы на него произвели, ни суждения, которое он собирался высказать.

«Как раз, — сказал он мне вдруг, словно приговор был произнесен, и кладя конец вздору, который я молол под недвижным взглядом его глаз, ни на минуту не оставлявших меня, — мне вспоминается сын одного из моих друзей, который, *mutatis mutandis*¹, совсем вроде вас — (и, говоря об одинаковости наших наклонностей, он принял такой же успокоительный тон, как будто это были наклонности к ревматизму и как будто он хотел показать мне, что от этого не умирают). — Он предпочел оставить Орсейскую набережную, где, однако, все пути были ему открыты благодаря его отцу, и принялся писать, не заботясь о том, что будут говорить. Право, ему не в чем раскаиваться. Он издал два года тому назад — он, разумеется, много старше вас — труд, в котором рассматривается чувство бесконечности на западном берегу озера Виктория Нианца, а в этом году работу менее значительную, но написанную легким, а порою и острым пером, о ружье с репетицией в болгарской армии, — сочинения, благодаря которым он не имеет себе равных. Он прошел уже немалый путь, он не из тех, кто останавливается на полдороге, и я знаю, что хотя его кандидатура и не имелась в виду, но в Академии Моральных Наук его имя упоминалось в разговоре раза два-три в очень лестном для него смысле. В общем, если нельзя еще сказать, что он достиг вершины величия, то он властно завоевал себе очень неплохое положение и успех, не всегда достающийся на долю одним лишь пронырам, вздорщикам, бахвалам, которые почти всегда являются и дельцами, — успех вознаградил его усилия».

Мой отец, решив уже, что через несколько лет я буду академиком, чувствовал удовлетворение, достигшее апогея, когда, после минуты нерешительности, в течение которой он, казалось, взвешивал последствия своего поступка, г-н де Норпуа сказал мне, протянув свою визитную карточку: «Навестите его от моего имени, он вам может дать полезные советы», — вызывая во мне этими словами волнение столь же мучительное, как если бы он возвестил мне, что завтра же я в качестве юнги должен отправиться в плавание на парусном судне.

¹ с необходимыми оговорками (*лат.*).

Моя тетка Леония завещала мне множество вещей, большое количество весьма неудобной мебели, а также и почти весь свой наличный капитал, таким образом проявив после смерти привязанность ко мне, о которой я вовсе и не подозревал при ее жизни. Мой отец, который должен был управлять этим состоянием до моего совершеннолетия, спросил совета г-на де Норпуа, как поместить часть этого капитала. Посол порекомендовал бумаги, приносящие небольшой доход, которые считал особенно солидными, а именно — «английские гарантированные» и русскую четырехпроцентную ренту. «С этими первоклассными бумагами, — сказал г-н де Норпуа, — во всяком случае, вы всегда уверены, что капитал не обесценится, хотя проценты и не очень высоки». Что касается остального, то отец сказал ему в общих чертах, что он купил. На лице г-на де Норпуа появилась едва заметная улыбка одобрения: как и для всякого капиталиста, богатство было для него вещью, достойной зависти, но он считал более изысканным, если дело шло о чем-либо состоянии, выражать свое участие почти совершенно незаметно; с другой стороны, так как сам он был страшно богат, то он считал правилом хорошего тона делать вид, будто чужие доходы, хотя бы не столь крупные, кажутся ему значительными, причем, однако, возвращаясь к мысли о превосходстве собственного состояния, он чувствовал себя отраднo и уютно. Зато он не поколебался поздравить моего отца с содержанием его портфеля, в котором, по его словам, был виден «вкус очень уверенный, очень изысканный, очень тонкий». Можно было подумать, что соотношению биржевых ценностей друг с другом и даже самим этим ценностям как таковым он приписывает нечто вроде эстетической значимости. По поводу одной из них — довольно новой и малоизвестной, о которой мой отец заговорил с ним, — г-н де Норпуа, словно человек, читавший книги, которые, как вы думали, знакомы только вам, сказал: «Как же, одно время я следил за ее котировкой, которая меня занимала, она была интересна», — с улыбкой, подвластной прошлому, словно подписчик журнала, урывками прочитавший последний напечатанный в нем роман. «Я не решился бы отсоветовать вам подписаться на выпуск, который появится в ближайшее время. Он имеет свои прелести, так как бумаги продаются по заманчивым ценам». Уже не помня с полной точностью названий некоторых старых бумаг, так как их легко было спутать с названиями однородных же акций, отец выдви-

нул ящики и показал послу самые бумаги. Меня очаровал их вид, они были украшены шпицами соборов и аллегорическими изображениями, как иные из числа тех старых романтических изданий, которые я перелистывал в былое время. Во всем, что относится к одной и той же эпохе, есть сходство: художники, которые иллюстрируют современные им поэмы, те же, что работают в кредитных обществах. И ничто так не напоминает отдельных выпусков «Собора Парижской Богоматери» и произведений Жерара де Нерваля в том виде, как они были выставлены в витрине бакалейной лавки в Комбре, как какая-нибудь именная акция Водной компании в прямоугольной рамке с узорами из цветов, которую поддерживают речные божества.

Мой умственный склад вызывал со стороны отца пренебрежение, которое, однако, настолько смягчалось нежностью, что, в общем, он относился с безусловным снисхождением ко всему, что я делал. Поэтому он не призадумался послать меня за небольшим стихотворением в прозе, которое я когда-то написал в Комбре, вернувшись с прогулки. Я писал его в восторженном состоянии, которое, казалось мне, должно сообщиться и тем, кто будет его читать. Но оно, по-видимому, не подействовало на г-на де Норпуа, потому что, возвращая стихотворение, он не сказал мне ни слова.

Мать, всегда исполненная уважения к занятиям отца, робко пришла спросить, можно ли подавать. Она опасалась прервать разговор, в котором ей не пристало бы принимать участие. И действительно, мой отец каждую минуту напоминал маркизу о каком-нибудь полезном мероприятии, которое они решили поддерживать на ближайшем заседании комиссии, и при этом он принимал особенный тон, каким разговаривают между собой в посторонней обстановке, точно два школьника, два сослуживца, которых, благодаря профессиональным привычкам, сблизжают общие воспоминания, недоступные для прочих и требующие извинений, когда собеседники касаются их.

Но полная независимость мускулов лица, которой достиг г-н де Норпуа, позволяла ему слушать с таким видом, будто он не слышит. Отец в конце концов приходил в замешательство: «Я предполагал узнать мнение комиссии...» — говорил он г-ну де Норпуа после долгого вступления. Тогда с уст аристократического виртуоза, хранившего неподвижность музыканта, который ждет, когда ему вступать, слетало, словно продолжение начатой фразы, в таком же темпе и тем же тоном, но окрашен-

ное другим тембром: «...которую вы, разумеется, не затруднитесь созвать, тем более что члены ее вас лично знают и легки на подъем». Само по себе такое заключение было, конечно, не особенно необыкновенно. Но предшествовавшая неподвижность придавала ему кристальную отчетливость, почти лукавую неожиданность тех фраз, которыми в концертах Моцарта рояль, пока что молчавший, в нужный момент отвечает звуку виолончели.

— Ну, остался ли ты доволен спектаклем? — спросил меня, когда мы проходили в столовую, отец, давая мне случай блеснуть и думая, что мой восторг возвысит меня в мнении г-на де Норпуа. — Он сегодня слушал Берма, помните, мы с вами говорили, — обратился он к дипломату таким тоном, как будто намекал — таинственно и нарочито, словно что-то припоминая, — на заседание комиссии.

— Вы, наверно, были в восхищении, в особенности если слушали ее в первый раз. Ваш отец опасался последствий, которые может иметь для вас маленькое отступление от вашего образа жизни, — ведь вы, кажется, слабого здоровья и не очень выносливы. Но я успокоил его: «Театры сейчас не то, чем они были всего лет двадцать тому назад. Вы сидите почти что с комфортом, зал вентилируется, хотя нам еще многого недостает, чтобы догнать Германию и Англию, от которых мы страшно отстали и в этом отношении, как и во многих других». Я не видел г-жи Берма в «Федре», но я слышал, что она прекрасна в этой роли. И вы, конечно, были в восторге?

Г-н де Норпуа был в тысячу раз умнее меня, и ему должна была быть известна та правда, которую я не сумел открыть в игре Берма, он должен был объяснить мне ее; отвечая на его вопрос, я хотел попросить его сказать мне, в чем выражается эта правда; и мое желание видеть эту актрису получило бы таким образом обоснование. В моем распоряжении был какой-нибудь миг, надо было воспользоваться им и расспросить о существенном. Но что было существенно? Сосредоточив все мое внимание на полученных впечатлениях, столь смутных, и вовсе не думая заслужить одобрение г-на де Норпуа, но надеясь добиться от него желанной правды, я не пытался заменить недостающие мне слова заранее готовыми выражениями, я запинаясь, а под конец, чтобы заставить его объяснить мне, чем замечательна Берма, я признался ему в своем разочаровании.

— Но как же, — воскликнул отец, недовольный тем, что, признаваясь в своем непонимании, я могу произвести неприятное впечатление на г-на де Норпуа, — как ты можешь говорить, что не получил удовольствия? Твоя бабушка рассказывала нам, что ты не пропустил ни одного слова Берма, что ты глядел во все глаза, что во всем театре ты один так смотрел.

— Ну да, я старался слушать как можно лучше, чтоб узнать, что в ней такого особенного. Конечно, она очень хороша...

— Если она очень хороша, то чего ж тебе еще?

— Свойство, безусловно содействующее успеху г-жи Берма, — обратился г-н де Норпуа к моей матери, стараясь втянуть и ее в круг разговора и добросовестно исполняя долг вежливости в отношении хозяйки дома, — это безукоризненный вкус, который сказывается у нее в выборе ролей и благодаря которому она всегда имеет настоящий и заслуженный успех. Она редко играет в посредственных пьесах. Смотрите, вот она взялась за роль Федры. И этот вкус виден и в туалетах, и в игре. Хотя она совершила целый ряд очень удачных турне в Англии и Америке, на нее не повлияла вульгарность — не скажу Джона Буля, что было бы несправедливо, по крайней мере по отношению к Англии времени Виктории, — но дядюшки Сэма. Слишком ярких красок, громких воплей — никогда. И потом — этот поразительный голос, которым она владеет с таким совершенством, что хочется сравнить ее с певицей.

Интерес, который возбуждала во мне игра Берма, продолжал усиливаться и после того, как кончился спектакль, потому что его больше не стесняли грани действительности; но я чувствовал потребность найти ему объяснение; кроме того, пока была на сцене Берма, он был направлен решительно на все то, что воспринималось моим зрением и слухом, как нераздельное в своей жизненной целостности; он ничего не различил и не разграничил, поэтому для него было счастьем, когда в этих похвалах простоте и вкусу артистки открылось понятное объяснение: он впитывал эти похвалы, поглощал их, хватаясь за них, как оптимизм опьяневшего человека хватается за поступки соседа, в которых он видит повод для умиления. «Это правда, — говорил я себе, — какой прекрасный голос, и ничего крикливого, какая простота в костюмах, и как умно, что она выбрала «Федру». Нет, я не разочарован!»

Появилась холодная говядина с морковью, уложенная рукою Микеланджело нашей кухни на огромные кристаллы желе, которые напоминали глыбы прозрачного кварца.

— У вас первокласснейший повар, сударыня, — сказал г-н де Норпуа. — А это — вещь немалая! За границей мне самому приходилось много принимать у себя, и я знаю, как трудно иногда найти идеального повара. Это прямо пиршество.

И действительно, честолюбивая Франсуаза, подстрекаемая желанием блеснуть в глазах именитого гостя, преодолев трудности, достойные ее таланта, и приготовив обед, постаралась так, как она уже не старалась для нас одних, и вновь обрела свое несравненное мастерство, как во дни Комбре.

— Вот чего вам не дадут ни в одном кабаке, хотя бы наилучшем; желе, которое не пахло бы клеем, и кусок тушеного мяса, весь пропитанный ароматом моркови, — это восхитительно! Позвольте еще вернуться к этому, — прибавил он, знаком показывая, что он желает взять еще желе. — Теперь мне бы хотелось судить об искусстве вашего Вателя по какому-нибудь совсем другому блюду, я хотел бы видеть, например, как он справится с бефстроганов.

Г-н де Норпуа, стараясь сделать застольный разговор как можно более приятным, преподносил нам различные анекдоты, которыми часто угощал своих сослуживцев, цитируя то нелепую фразу, сказанную политическим деятелем, с которым это часто случалось и у которого фразы получались длинные и были полны бессвязных метафор, то какое-нибудь короткое изречение остроумного дипломата. Но, по правде говоря, признаки, по которым он различал эти два типа фраз, несколько не были похожи на критерии, которые я прилагал к литературе. Я не улавливал множества оттенков; слова, которые он цитировал со смехом, по-моему, не очень разнились от тех, которые он находил замечательными. Он принадлежал к числу людей, которые о моих любимых произведениях могли бы сказать: «Так вам понятно? Я сознаюсь, что мне это непонятно, я не посвящен», — но я мог бы ответить ему тем же, я не улавливал, в чем остроумие или глупость; красноречие или напыщенность, которые он видел в речи или фразе, и полное отсутствие видимой причины, почему это было плохо, а то хорошо, делало для меня этот вид словесности более таинственным и более загадочным, чем какой-либо другой. Мне только стало ясно, что повторять то, что думают все, является в политике признаком не слабости, а силы. Когда г-н де Норпуа употреблял некоторые выражения, на каждом шагу попадавшиеся в газетах, и делал на них упор, чувствовалось, что они становятся событием

только потому, что *он* их произносит, и событием, которое возбуждает толки.

Мать возлагала большие надежды на салат из ананаса с трюфелями. Но посол, вперив в него на минуту пронизательный взор наблюдателя, отведал его, храня дипломатическое молчание, и не поделился с нами своим мнением. Моя мать уговаривала его взять еще, что он и сделал, ограничившись, однако, вместо ожидаемой похвалы, следующим ответом: «Я повинуюсь вам, сударыня, так как вижу, что это настоящий указ».

— Мы читали в газетах, что вы долго беседовали с королем Феодосием, — сказал ему мой отец.

— Действительно, король, у которого редкая память на лица, был так добр, что, увидев меня в креслах, вспомнил, что я имел честь видеть его в течение нескольких дней при Баварском дворе, когда он еще и не думал о своем восточном престоле (вы ведь знаете, что на этот престол его призвал Европейский конгресс и он даже сильно колебался, считая эту корону не вполне достойной своего происхождения, которое в геральдическом смысле является самым благородным во всей Европе). Адъютант пригласил меня пройти к его величеству, приказанию которого я, разумеется, поспешил повиноваться.

— Вы остались довольны результатами пребывания его здесь?

— Восхищен! Можно было слегка сомневаться, что столь юный монарх справится с этим трудным делом, особенно принимая во внимание такое щекотливое положение. Что до меня, то я нисколько не сомневался в политическом чутье короля. Но признаюсь, он превзошел мои ожидания. Тост, который он произнес в Елисейском дворце и который, как я знаю из совершенно достоверных источников, был составлен им самим от первого слова до последнего, вполне заслуживает того интереса, который он всюду возбудил. Это просто шедевр; не спорю, это было несколько смело, но смелость эта целиком оправдывается ходом событий. В дипломатических традициях есть много хорошего, но в данном случае они привели к тому, что создали для обеих стран удушливую атмосферу, в которой больше невозможно было дышать. Ну вот, один из способов, чтобы освежить воздух, — конечно, способ, который нельзя рекомендовать, но который король Феодосий мог себе позволить, — это бить стекла в окнах, и он сделал это так весело, что всех очаровал, и выражения были такие меткие, что в нем сразу

можно было узнать кровь тех просвещенных монархов, потомком которых он является по матери. Не подлежит сомнению: когда он заговорил о «родстве», соединяющем Францию с его страной, выражение было найдено удивительно удачно, как бы непривычно ни казалось оно для языка канцелярий. Вы видите, что литература не вредит делу, даже в дипломатии, даже на троне, — прибавил он, обращаясь ко мне. — Не спорю, факт был признан уже давно, и между обеими державами установились превосходные отношения. Все же это надо было высказать. Этого слова ждали, и нельзя было найти слова более удачного, — вы видели, какой оно произвело эффект. Что до меня, то я аплодирую обеими руками.

— Ваш друг, господин де Вогубер, давно уже подготавливающий сближение, должен быть доволен.

— Тем более что его величество пожелал сделать ему сюрприз, по своему обыкновению. Впрочем, это был полный сюрприз для всех, начиная с министра иностранных дел, которому, как мне говорили, это не пришлось по вкусу. Одному лицу, которое разговаривало с ним об этом, он будто бы сказал вполне отчетливо и достаточно громко, чтобы окружающие могли слышать: «Со мной не посоветовались и меня не предупредили», — ясно давая понять, что снимает с себя всякую ответственность. — Надо сказать, что это событие сильно нашумело, и, — прибавил он с лукавой улыбкой, — я не решился бы утверждать, что оно не нарушило спокойствия кое-кого из наших коллег, для которых высшим законом является закон наименьшего усилия. Что касается Вогубера, то, вы знаете, на него сильно нападали за политику сближения с Францией, и он тем более должен был страдать от этого, что это чуткий человек, чуждая душа. Я могу это подтвердить тем более, что мы с ним старинные друзья, хоть он и значительно моложе; мы с ним очень часто встречались, и я хорошо его знаю. Да и кто его не знает? Это кристальная душа. Это даже единственный недостаток, в котором его можно упрекнуть: не требуется, чтобы сердце дипломата было так прозрачно. Это не мешает тому, что сейчас поговаривают о его назначении в Рим, а это очень большое повышение, но и большой труд. Между нами, я думаю, что Вогубер, хоть он и не честолюбив, был бы очень доволен и отнюдь не желает, чтобы эта чаша миновала его. Он, может быть, произведет там прекрасное впечатление; он кандидат Консульта, и что до меня, то я прекрасно представляю себе его, с его арти-

стичностью, на фоне дворца Фарнезе и галереи Карраччи. Кажется по крайней мере, что его некому ненавидеть; но король Феодосий окружен целой камарильей, связанной более или менее тесно с Вильгельм-штрассе, внушениям которой она покорно следует, и всеми способами создававшей ему затруднения. Вогуберу пришлось столкнуться не только с дворцовыми интригами, но и с ругательствами подкупленных писак, трусливых, как все газетчики на жалованье, которые потом первые же запросили *амана*, но до этого не задумались пустить в ход против нашего представителя нелепые обвинения, на какие способны темные личности. Враги Вогубера больше месяца плясали вокруг него танец *скальпа*, — г-н де Норпуа резко отгнетил это слово. — Но умный человек стоит целых двух; эти оскорбления, он отшвырнул их пинком, — прибавил он еще более резко и посмотрел так свирепо, что мы на мгновение перестали есть. — Как гласит прекрасная арабская пословица: «Собаки лают, караван проходит мимо». — Приведя эту цитату, г-н де Норпуа остановился и посмотрел на нас, чтобы судить о том, какое впечатление она произвела. Впечатление было сильное, мы знали пословицу. Она в этом году заменила в высших кругах другую: «Кто сеет ветер, пожнет бурю», которая нуждалась в отдыхе, не будучи столь неутомимой и живучей, как речение: «Работать на прусского короля». Культура этого высшего круга была плодосменная, обыкновенно с трехгодичным севооборотом. Разумеется, подобные цитаты, которыми г-н де Норпуа так умел испещрять свои статьи в «Обзрении», вовсе не требовались для того, чтобы статьи эти производили впечатление серьезности и осведомленности. Достаточно было того, чтобы г-н де Норпуа, даже не прибегая к этим украшениям, написал в нужную минуту (что он всегда и делал): «Сент-Джеймский кабинет вовремя почувствовал опасность», или же: «Велико было смущение в здании у Певческого моста, где с тревогой следили за эгоистической, но искусной политической двуединой монархии», или: «Из Монтечиторио донесся тревожный сигнал», или еще: «Это вечная двойная игра, которая всегда была в нравах Балльплаца»... Несведущий читатель по этим выражениям сразу же узнавал опытного дипломата и преклонялся перед ним. Но если о нем говорили, что он — нечто большее, что он обладает высшей культурой, то повод к этому давало умение пользоваться цитатами, идеальным образчиком которых в то время было: «Дайте хорошую политику, и я

дам вам хорошие финансы, как любил говорить барон Луи». (Еще с Востока не успели ввезти: «Победа принадлежит тому из двух противников, который может терпеть на четверть часа дольше, чем другой», как говорят японцы.) Эта репутация высокообразованного человека в сочетании с истинным даром интриги, таившимся под маской равнодушия, открыла г-ну де Норпуа двери Академии Моральных Наук. И даже мысль, что он был бы на месте во Французской Академии, пришла кое-кому в голову после того, как, желая указать, что мы могли бы прийти к соглашению с Англией через укрепление союза с Россией, он не призадумался написать: «Пусть твердо помнят на Орсейской набережной, пусть пишут впредь во всех учебниках географии, которые в этом отношении страдают пробелом, пусть беспощадно отказывают в аттестате всякому бакалавру, который не сумеет сказать: «Если все пути приводят в Рим, то путь, ведущий из Парижа в Лондон, неизбежно проходит через Петербург».

— Как бы то ни было, — продолжал г-н де Норпуа, обращаясь к моему отцу, — Вогубер создал себе большой успех, превзошедший даже то, на что он рассчитывал. Действительно, он ждал корректного тоста (что было бы уже очень хорошо, после облаков последних лет), но и только. Некоторые из присутствовавших уверяли меня, что, читая этот тост, нельзя себе представить того впечатления, которое он произвел, прозвучав из уст короля, мастерски владеющего словом и умело оттенившего все частности, подчеркнувшего мимоходом каждый намек, каждую тонкость. Мне рассказывали по этому поводу довольно интересный факт, лишний раз рисующий то обаяние молодости, которое так привлекает сердца к королю Феодосию. Мне подтверждали, что как раз дойдя до слова «родство», которое, в сущности, и придало речи главный интерес новизны и которое, вы увидите, долго будут комментировать в канцеляриях, его величество, — предвидя радость нашего посланника, который сейчас получит награду за свои усилия, увидит осуществление, можно сказать, своей мечты и в конечном итоге заслужит маршальский жезл, — полуобернулся к Вогуберу, вперил в него свой чарующий взгляд, по которому нельзя не узнать одного из Эттингенов, и так удачно оттенил это меткое слово, явившееся настоящей находкой, произнес его таким тоном, который ясно показывал, что оно было выбрано вполне сознательно, с полным знанием дела. Говорят, Вогубер с трудом скрывал свое

волнение, и, сознаюсь, я в известной мере его понимаю. Лицо, заслуживающее полного доверия, передавало мне даже, что король, оставшись после обеда в интимном кругу, подошел к нему и спросил вполголоса: «Довольны вы своим учеником, мой милый маркиз?»

Не подлежит сомнению, — заключил г-н де Норпуа, — что и двадцатилетние переговоры не могли бы теснее сблизить обе страны, связанные «родством», пользуясь образным выражением Феодосия II. Если хотите, это только слово, но посмотрите, какой оно имеет успех, как вся европейская печать повторяет его, какой оно возбуждает интерес, какой оно получило резонанс. Впрочем, оно совершенно в духе короля. Я не стану вас уверять, что он каждый день находит такие чистейшие алмазы. Но и в речах, к которым он готовится, — больше того, в непринужденном разговоре — почти всегда заметна его личность, я чуть было не сказал: *видна подпись*, точно слово, высеченное на камне. Меня тем менее можно заподозрить в пристрастии, что я враг всяких новшеств в этом роде. В девятнадцати случаях из двадцати они рискованны.

— Да, я подумал, что последняя телеграмма германского императора не должна была вам понравиться, — сказал мой отец.

Г-н де Норпуа поднял глаза к небу с таким видом, точно хотел сказать: «О, уж этот-то! Во-первых, это — неблагодарность. Это больше чем преступление, это ошибка и такая глупость, которую я назвал бы *пирамидальной!* Впрочем, если никто не наведет там порядка, то человек, прогнавший Бисмарка, вполне способен отставить всю бисмарковскую политику, тогда это — прыжок в неизвестное».

— А мой муж говорил мне, господин маркиз, что, быть может, вы увезете его с собой летом в Испанию. Я очень рада за него.

— Да, да, это очень заманчивый план, я о нем думаю с удовольствием. Я буду очень рад совершить с вами это путешествие, дорогой мой. А вы, сударыня, строите уже какие-нибудь планы на лето?

— Я, может быть, поеду с сыном в Бальбек, не знаю.

— А-а! Бальбек — приятное место. Я был там несколько лет тому назад. Там начинают строить очень нарядные виллы; я думаю, место вам понравится. Можно ли спросить, что заставило вас выбрать Бальбек?

— Моему сыну очень хочется посмотреть там некоторые церкви, особенно бальбекскую церковь. Я несколько опасалась, что его утомит путешествие и, главным образом, пребывание там. Но я узнала, что там выстроен прекрасный отель, где он может жить с тем комфортом, которого требует его здоровье.

— А-а! я должен сообщить об этом одной особе, которой это не будет безразлично.

— Ведь бальбекская церковь прекрасна, не правда ли, господин маркиз? — спросил я, преодолевая грусть, в которую впал, узнав, что одна из прелестей Бальбека — его нарядные виллы.

— Да, она недурна, но все-таки она не выдерживает сравнения с этими резными шедеврами, как, например, Реймский и Шартрский соборы и, по-моему, жемчужина из жемчужин — парижская Сент-Шапель.

— Но бальбекская церковь отчасти в романском стиле?

— Да, она в романском стиле, который сам по себе чрезвычайно холоден, так что нельзя еще предугадать изящества, изобретательности архитекторов готического периода, которые с камнем обращаются, как с кружевом. Бальбекская церковь стоит того, чтобы посетить ее, если вы поблизости; она довольно интересна. Если как-нибудь в дождливый день вам нечего будет делать, вы можете зайти в нее, — посмотрите гробницу Трувиля.

— Вы были вчера на банкете в Министерстве иностранных дел? Я не мог там быть, — сказал мой отец.

— Нет, — ответил, улыбаясь, г-н де Норпуа, — признаюсь, я изменил ему и провел вечер совсем в ином месте. Я обедал вчера у женщины, о которой вы, может быть, слышали, — у прекрасной госпожи Сван.

Мать незаметно вздрогнула, так как, будучи более чуткой, чем отец, она пугалась всего, что должно было огорчить его мгновение спустя. Неприятности, случавшиеся с ним, она замечала раньше, подобно тому, как печальные для Франции новости узнаются за границей раньше, чем у нас. Но, желая узнать, каких гостей принимают у себя Сваны, она осведомилась у г-на де Норпуа, кого он там встретил.

— Боже мой... Это дом, где, мне кажется, бывают больше всего... мужчины. Там было несколько женатых мужчин, но их женам нездоровилось вчера и они не приехали, — ответил посол, добродушием маскируя лукавство и бросая взгляды, кро-

тость и скромность которых должна была смягчить их двусмысленность, а на самом деле удачно подчеркивала ее. — Если быть справедливым, должен сказать, — прибавил он, — что бывают там и женщины, но... принадлежащие скорее... как бы это сказать... к миру республиканскому, чем к обществу Свана (он произносил именно так: *Сван*, а не *Суан*). Кто знает? Может быть, когда-нибудь это будет литературный или политический салон. Впрочем, они, кажется, и так довольны. Я нахожу, что Сван даже слишком это показывает. Лиц, к которым он и его жена были приглашены на ближайшей неделе и дружбой которых, однако, не приходится гордиться, он перечислял с таким отсутствием достоинства и вкуса, даже такта, которое удивило меня в столь умном человеке. Он твердил: «У нас ни одного свободного вечера», как будто этим можно гордиться, и как настоящий выскочка, которым он все же не является. Ведь у Свана было много приятелей и даже приятельниц, и я, не беря излишней смелости и вовсе не желая быть нескромным, кажется, могу сказать, что если не все они, и даже не большинство из них, то одна по крайней мере, притом очень большая аристократка, не слишком враждебно отнеслась бы к мысли о знакомстве с госпожой Сван — пример, которому, вероятно, последовала бы не одна овца Панургова стада. Но, кажется, сам Сван не сделал ни одного шага в этом направлении. Как, еще пудинг Нессельроде! Мне потребуется курс лечения в Карлсбаде, чтобы оправиться от этого Лукуллова пира. Может быть, Сван почувствовал, что пришлось бы преодолеть слишком большое сопротивление. Брак, во всяком случае, не понравился. Поговаривали о состоянии жены, но это ерунда. В общем, все это произвело неприятное впечатление. Кроме того, у Свана есть тетка, чрезвычайно богатая и занимающая блестящее положение в свете, жена человека, который в финансовом мире является крупной величиной. И она не только отказалась принять госпожу Сван, но повела настоящую кампанию, чтобы то же самое сделали ее друзья и знакомые. Я не хочу этим сказать, что кто-нибудь из порядочных людей в Париже оказал неуважение госпоже Сван. Нет, тысячу раз нет! Да и муж ее не смолчал бы. Во всяком случае, любопытно посмотреть, как Сван, у которого столько знакомых, и притом самых изысканных, ухаживает за людьми, о которых в лучшем случае можно сказать, что они составляют очень смешанное общество. Мне, знавшему его раньше, признаюсь, было и странно, и забавно видеть, как этот

человек, такой воспитанный, пользовавшийся таким успехом в самом избранном обществе, с жаром благодарил директора Канцелярии министра почт за то, что он посетил их, и спрашивал его, может ли госпожа Сван *позволить* себе сделать визит его жене. Всё же ему должно быть не по себе; ясно, что это уже не то общество. Однако я не думаю, что Сван несчастлив. Правда, в годы, предшествовавшие браку, эта женщина довольно мерзко шантажировала его; каждый раз, когда Сван отказывал ей в чем-нибудь, она разлучала его с дочерью. Бедный Сван, такой доверчивый, несмотря на свою утонченность, всякий раз воображал, что исчезновение его дочери было случайностью, и не хотел видеть правду. К тому же она все время делала ему сцены, и можно было думать, что, когда она добьется своего и заставит его жениться, ее уже ничто не будет удерживать и их жизнь будет адом. И что же, случилось совсем обратное. Всех забавляет, как Сван говорит о своей жене, над ним даже издеваются. Конечно, никто не требовал, чтобы, более или менее сознавая себя... (вы помните слова Мольера), он стал возвещать это *urbi et orbi*¹; всё же нельзя не упрекнуть его в преувеличении, когда он говорит, что его жена — прекрасная супруга. Впрочем, это не так далеко от истины, как думают. Прекрасная на свой лад, который не всем мужьям был бы по вкусу, но в конце концов, между нами говоря, трудно, мне кажется, чтобы Сван, который знаком с ней давно и отнюдь не дурак, не знал, как себя держать; не подлежит сомнению, что она привязана к нему. Я не говорю, что она ему не изменяет, да и сам Сван не теряет времени, если верить злым языкам, которые, как вы можете себе представить, делают свое дело. Но она благодарна ему за то, что он для нее сделал, и, вопреки всеобщим опасениям, она стала ангельски кротка.

Пожалуй, эта перемена не была так необычайна, как казалось г-ну де Норпуа. Одетта не думала, что Сван в конце концов женится на ней. Всякий раз, как она, преследуя свою цель, сообщала ему, что какой-нибудь человек из общества женится на своей любовнице, он хранил ледяное молчание, и только если она прямо требовала ответа, спрашивая его: «Так что же, по-твоему, разве это не хорошо, разве это не прекрасно, то, что он сделал для женщины, отдавшей ему свою молодость?» — он, самое большее, сухо отвечал: «Я не говорю тебе, что это плохо, каждый поступает по-своему». Она готова

¹ граду и миру (*лат.*).

была думать, что он совершенно покинет ее, как он угрожал ей в минуты гнева, ибо она как-то слышала от одной женщины-скульптора, что «от мужчин всего можно ожидать, они такие гады»; и, проникшись глубиной этого пессимистического афоризма, она по всякому поводу с разочарованным видом повторяла его, как бы говоря: «В конце концов, нет ничего невозможного, такая уж судьба». И в результате потерял силу тот оптимистический принцип, которым Одетта до сих пор руководствовалась в своей жизни: «Всё можно сделать с мужчинами, если они вас любят, они такие идиоты», и который она подкрепляла таким подмигиванием, будто хотела сказать: «Не бойтесь, он ничего не ломает». А пока что Одетта мучилась при мысли о том, что должна думать о поведении Свана та или иная из ее подруг, вышедшая замуж за человека, который прожил с ней меньше времени, чем Сван с Одеттой, не имевшая ребенка, пользовавшаяся теперь относительным уважением, получавшая приглашения на балы в Елисейский дворец. Судья более проницательный, чем г-н де Норпуа, наверное понял бы, что Одетту озлобило это чувство унижения и стыда, что адский характер, который она проявляла, не был ей свойствен, не был неизлечимым недугом, и с легкостью предсказал бы то, что случилось, а именно, что новый режим, режим брачный, с почти волшебной быстротой положит конец этим болезненным, ежедневным, но отнюдь не органическим явлениям. Почти все удивлялись этому браку, и это даже удивительно. Разумеется, немногим понятен чисто субъективный характер явления, которое представляет собою любовь, создание как бы дополнительной личности, не похожей на ту, что в свете носит то же имя, — личности, большая часть элементов которой заимствована нами из нас самих. Поэтому так мало людей, считающих естественными те огромные пропорции, которые в конце концов принимает для нас существо, не тождественное с тем, каким оно является в их глазах. Всё же, кажется, можно было отдать себе отчет в том, что Одетта, хотя ей, разумеется, ум Свана никогда не был совершенно понятен, по крайней мере знала названия его работ и всё, касавшееся их, настолько, что имя Вермера было для нее так же привычно, как имя ее портного; она знала насквозь те черты характера Свана, которые людям или неизвестны, или смешны и которые отчетливо и с нежностью представляет себе любовница или сестра; и они так дороги нам — даже те из них, от

которых нам больше всего хотелось бы исправиться, — что женщина под конец привыкает к ним, снисходительная и дружелюбно-насмешливая, словно мы сами или наши родные, и вот потому-то в давних связях есть нечто, напоминающее силу и прелесть семейных привязанностей. Узы, которые связывают нас с другим существом, освящаются в наших глазах, когда это существо судит наши изъязны с той же точки зрения, что и мы. И среди этих особенностей были и такие, которые отличали ум Свана в такой же мере, как и его характер, и которые всё же Одетта легче распознавала благодаря тому, что они, несмотря ни на что, коренились именно в характере. Она жаловалась, что, когда Сван становился литератором, когда он выпускал в свет свои работы, эти черты не выступали так ясно, как в его письмах или разговорах, где они преобладали. Она советовала ему уделять им главное место. Ей хотелось этого, потому что они больше всего нравились ей в нем, но так как ей они нравились потому, что в них он в большей степени был самим собой, ей, быть может, не напрасно хотелось видеть их и в том, что он писал. Может быть, также она думала, что работы, в которых было бы больше живости, могли бы наконец доставить ему успех, а ей дали бы возможность устроить у себя то, что у Вердюренов она научилась ценить выше всего на свете, — салон.

В числе людей, считавших этого рода браки смешными, людей, которые по отношению к себе самим задавались вопросом: «Что подумает герцог Германтский, что скажет Бреоте, когда я женюсь на мадемуазель де Монморанси?» — в числе людей, создавших себе такой общественный идеал, лет двадцать тому назад был бы и сам Сван, прилагавший все усилия, чтобы попасть в члены Жокей-Клуба, и рассчитывавший в то время на блестящий брак, который упрочил бы его положение и сделал бы его одним из самых заметных представителей парижского общества. Но представления, которые складываются о таком браке у самого действующего лица, как и всякие представления, должны получать пищу извне, чтобы совершенно не зачахнуть и не стереться. Ваша самая жгучая мечта — унижить человека, оскорбившего вас. Но если вы, переселившись в другую страну, никогда больше не будете слышать о нем, ваш враг в конце концов потеряет для вас всякое значение. Если за двадцать лет вы потеряли из виду всех тех, ради кого вам хотелось быть принятым в Жокей-Клуб или Институт, то перспек-

тива стать членом того или другого утратит для вас всякую заманчивость. Но подобно отшельничеству, подобно болезни, подобно перемене вероисповедания, многолетняя связь заменяет старые представления новыми. Когда Сван женился на Одетте, ему не пришлось отказываться от честолюбивых светских стремлений, так как, в духовном смысле слова, Одетта уже давно заставила его охладеть к ним. Впрочем, если бы он и не охладел к ним, то заслуга его была бы тем больше. Позорящие браки именно потому больше всего заслуживают уважения, что в них мы жертвуем более или менее блестящим положением ради прелести чисто личной жизни (ведь позорящим браком нельзя считать брак из-за денег, так как не было примеров, чтобы супружескую чету, где муж или жена продали себя, их знакомые в конце концов не стали бы принимать, хотя бы по традиции, на основании множества примеров, или чтобы не пользоваться разными мерками для оценки одинаковых случаев). С другой стороны, Свану, как натуре художественной, если не испорченной, может быть, доставляло известное удовольствие вступить в брак с существом из иного мира, эрцгерцогиней или кокоткой, подражая тем скрещиваньям пород, которыми занимаются менделисты и о которых повествует мифология, породниться с королевским домом или сделать мезальянс. В свете было только одно лицо, мнением которого он был озабочен — и вовсе не из снобизма — всякий раз, когда думал о возможности брака с Одеттой; это была герцогиня Германтская. Одетта, напротив, мало интересовалась ею, думая только о людях, стоящих непосредственно над ней, а не о тех, кто жил в столь далеком эмпирее. Но когда Сван, предаваясь мечтам, думал о том, как Одетта станет его женой, он неизменно рисовал себе то мгновение, когда он привезет ее — ее и, главное, свою дочь — к принцессе де Лом, которая стала герцогиней Германтской после смерти отца своего мужа. Он не желал представить их никому другому, но умилялся, воображая и даже произнося вслух все то, что герцогиня скажет о нем Одетте, а Одетта герцогине, нежность, с которой герцогиня отнесется к Жильберте, лаская ее, заставляя его гордиться своей дочерью. Он рисовал себе сцену этого представления с тою же точностью в воображаемых деталях, с какою люди, мечтающие о выигрыше, сумма которого произвольно определяется ими, решают, что они будут с ним делать. Поскольку образы, сопутствующие нашим решениям, мотивируют их, постольку можно сказать, что если Сван же-

нился на Одетте, то сделал это для того, чтобы представить ее и Жильберту герцогине Германтской, хотя бы никто не присутствовал при этом и даже, в крайнем случае, никогда об этом не узнал. Мы увидим, что именно эта единственная честь, о которой он мечтал для жены и дочери, оказалась неосуществимой для него, и притом вследствие столь безусловного вето, что Сван так и умер с мыслью, что герцогиня никогда с ними не познакомится. Мы увидим также, что герцогиня Германтская, напротив, подружилась с Одеттой и Жильбертой после смерти Свана. И пожалуй, — поскольку он мог придавать значение такой мелочи — благоразумнее бы ему было не рисовать себе будущего в слишком мрачных тонах и не оставлять надежды, что желанная встреча произойдет, когда его уже не станет и он уже не сможет ей радоваться. Работа причинности, в конце концов осуществляющая почти все возможные следствия, а значит, и те, которые казались нам самыми невозможными, эта работа порой совершается медленно и еще замедляется по вине наших желаний — которые, стараясь ускорить ее, ее тормозят, — даже по вине нашего бытия, и достигает цели, лишь когда мы перестаем желать, а иногда и существовать. Разве Сван не знал этого по собственному опыту, разве в его жизни — словно предзнаменование того, чему суждено было случиться после его смерти, — не был таким посмертным счастьем этот брак с Одеттой, которую он страстно любил, хотя при первой встрече она и не понравилась ему, и на которой он женился, когда уже не любил ее, когда существо, так страстно мечтавшее всю жизнь прожить с Одеттой и отчаявшееся в этом, когда это существо в нем умерло?

Я заговорил о графе Парижском, спросил, не был ли он другом Свана, опасаясь, что разговор может перейти на другую тему. «Да, совершенно верно», — ответил г-н де Норпуа, повернувшись ко мне и вперив в мою скромную особу голубой взгляд, в котором, словно окруженная своей жизненной стихией, предчувствовалась его громадная трудоспособность и приспособляемость. «И, право же, — прибавил он, снова обращаясь к моему отцу, — думаю, с моей стороны это не будет неуважением к принцу, которого я привык чтить (не поддерживая с ним, правда, личных отношений, затруднительных по моему положению, хотя и очень мало официально), если сообщу вам тот довольно интересный факт, что всего четыре года тому назад на какой-то маленькой железнодорожной станции в одной из стран

Средней Европы принц имел случай видеть госпожу Сван. Разумеется, никто из его приближенных не осмелился спросить его высочество, что он о ней думает. Это было бы неудобно. Но когда случайно в разговоре упоминалось ее имя, принц довольно охотно давал понять, — это было, пожалуй, еле заметно, но нельзя было ошибиться, — что его впечатление далеко не оказалось неблагоприятным».

— Но ведь нет возможности представить ее графу Парижскому? — спросил мой отец.

— Ну, неизвестно; с высочайшими особами ничего нельзя знать, — ответил г-н де Норпуа. — Самые гордые среди них, те, которые лучше всех умеют заставить себя уважать, подчас меньше всего смущаются приговорами общественного мнения, даже самыми справедливыми, если только дело заходит о том, чтобы вознаградить известные привязанности. А не подлежит сомнению, что граф Парижский всегда очень благосклонно смотрел на преданность Свана, который к тому же умнейший мальчик.

— А какое впечатление осталось у вас, господин посол? — спросила моя мать, из вежливости и из любопытства.

И с горячностью старого знатока, резко контрастирующей с обычной сдержанностью его речей:

— Прямо превосходное! — ответил г-н де Норпуа.

И помня, что признание в том, какое сильное впечатление произвела на нас женщина, составляет особенно ценимую форму остроумия в разговоре — при условии, если это будет сделано весело и непринужденно, — он рассмеялся отрывистым, продолжавшимся несколько секунд смешком, от которого голубые глаза старого дипломата увлажнились, а ноздри, усеянные красными жилками, задрожали.

— Она совершенно очаровательна.

— Господин маркиз, а был ли на этом обеде писатель Бергот? — робко спросил я, стараясь задержать разговор на теме о Сване.

— Да, Бергот там был, — ответил г-н де Норпуа, изысканно-вежливо наклонив голову в мою сторону, как будто, желая быть любезным с моим отцом, он придавал значение всему, что было с ним связано, вплоть до вопросов мальчика моих лет, не привыкшего к такой предупредительности со стороны людей его возраста. — Вы знакомы с ним? — прибавил он, остановив

на мне ясный взгляд, пронизательность которого восхищала Бисмарка.

— Мой сын не знаком с ним, но очень им восхищается, — сказала моя мать.

— Право, — сказал г-н де Норпуа (внушивший мне насчет моего ума сомнения более серьезные, чем те, которыми я обычно терзался, ибо я увидел, что то, что я ставил неизмеримо выше себя, что казалось мне высшей ценностью в мире, занимает низшую ступень в системе его оценок), — я не разделяю этой точки зрения. Бергот, как я говорю, *играет на флейте*; надо, впрочем, признать, что игра его приятна, хоть и очень манерна, очень жеманна. Но не более в конце концов, а это не много. В его произведениях, совершенно лишенных мускулов, никогда нет того, что можно было бы назвать *остовом*. Никакого — или так мало — действия, но главное, никакого простора. В его книгах плох фундамент, вернее в них вовсе нет фундамента. В такое время, как сейчас, когда возрастающая сложность жизни почти не оставляет времени, чтобы читать, когда карта Европы подверглась значительным изменениям и находится, быть может, накануне изменений еще более крупных, когда всюду возникает столько новых и угрожающих вопросов, вы согласитесь со мною, можно требовать от писателя не только остроумия, заставляющего нас забыть в праздных и несвоевременных спорах о чисто формальных достоинствах, что с минуты на минуту на нас может обрушиться двойное нашествие варваров, как извне, так и изнутри. Я знаю, что это — хула на святейшую школу, которую эти господа называют Искусством для Искусства, но в нашу эпоху есть задачи более важные, чем искусство благозвучно сочетать слова. Мастерство Бергота порою довольно обольстительно, не спорю, но в общем все это очень хило, очень незначительно и уж слишком не по-мужски. Что же касается вашего преувеличенно высокого мнения о Берготе, то теперь мне становятся более понятны те строки, которые вы мне показывали и на которых я не буду останавливаться, — это было бы и невежливо, так как вы сами простодушно сказали, что это лишь детская мазня — (я действительно это сказал, но совершенно не думал этого). — Будем снисходительны к заблуждениям, а в особенности к заблуждениям молодости. В конце концов, и другие грешили тем же, и не вы один воображали себя поэтом. Но в том, что вы мне показывали, заметно дурное влияние Бергота.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Часть первая.</i> ВОКРУГ Г-ЖИ СВАН	5
<i>Часть вторая.</i> ИМЕНА МЕСТНОСТЕЙ: МЕСТНОСТЬ	205